

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

Алексей
Поликовский

В 1942 году в Варшаве, в гетто, в четырёхэтажном доме на Хлодной улице, где находился Дом сирот, 63-летний врач, учитель и писатель Януш Корчак начал вести дневник. На попечении у него к этому времени находилось 200 детей, забота о которых способна отнять у человека двадцать четыре часа в сутки и в более спокойные времена. Зимой же 1942-го в оккупированной немцами Польше к обычным заботам Корчака прибавлялась ещё одна: где доставать продовольствие? Вся методика и педагогика, вся философия и любовь к детям сводились для него в этих обстоятельствах к одному вопросу: способен ты или не способен достать двести килограммов картошки на каменном огороженном пятакке, куда согнано 370 тысяч евреев? Каждую неделю по субботам, как и положено, Корчак взвешивал детей. «Час субботнего взвешивания — час сильных ощущений», — записал он в дневник. Дети катастрофически худели.

К лету 1942-го у Корчака уже не было никаких сомнений в том, какое будущее ждёт его и его детей. Он, конечно, не знал о директиве штурмбаннфюрера СС Германа Хефле, предписывавшего начать «выселение на восток» (то есть в концлагерь Треблинку), но по происходившему вокруг понимал, что немцы начали методичную и планомерную работу уничтожения. Они использовали не один метод, а множество их, комплексно: облавы, во время которых по людям открывалась внезапная стрельба, умышленное создание скученности людей при запрете на поставки продовольствия, вывоз эшелонами в лагеря смерти. Смерть для Корчака и его детей в эти месяцы из абстрактной перспективы, ожидающей всё живое, превратилась в близкую неизбежность. На одной из страниц дневника мы читаем: «У тротуара лежит подросток, не то живой, не то мёртвый. И тут же рядом, у трёх мальчиков, игравших в лошадку, перепутались верёвочки (вожжи). Мальчуганы переговариваются, пробуют и так и эдак, злятся, задевают ногами лежащего. Наконец один из них говорит: «Отойдём немножко, а то он мешает». Они отошли на несколько шагов и продолжали распутывать вожжи».

Дни Корчака были заполнены с раннего утра до поздней ночи. Он писал письма и воззвания с просьбой помочь детям хоть каким-нибудь продовольствием; в феврале он взвалил на себя новые заботы о Доме подкидышей, помещавшемся на Дельной улице. «В помещении, рассчитанном на несколько сот, находилось несколько тысяч детей, — описывал один из очевидцев новое поприще доктора Януша Корчака. — С порога в нос бил запах кала и мочи. Младенцы лежали в грязи, пелёнок не было, зимой моча замерзала, и на этом льду лежали окоченелые трупики. Дети постарше целыми днями сидели на полу или на скамеечках, монотонно качаясь, и, как зверушки, жили от кормёжки до кормёжки в ожидании скудной, очень скудной пищи... Доктор Корчак решил очистить эти авгиевы конюшни». Но, обмывая и укутывая младенцев, выдавая ребятам постарше по кусочку хлеба и кружке кипятка, который он разливал из старого побитого чайника, мог ли он не думать о том, для чего спасает их? Мог ли он, пожилой человек, не склонный к самообольщению, не размышлять о том, для какого будущего он воспитывает детей в своём Доме сирот? Прививает им хорошие манеры, учит доброте — для газовой камеры в Треблинке, для крематория в Освенциме?

Дети и смерть. Само сочетание этих слов заставляло его душу корёжиться в отчаянии. Видение душегубки не раз возникает на страницах его дневника, но он не выпускает его наружу, прихлопывает между страниц, оберегает детей, которых нельзя уберечь. Перед ним, воспитателем, всю жизнь готовившим детей для жизни, в эти весенние и летние месяцы 1942 года вставал вопрос, которого нет и не может быть ни в одном учебнике педагогики: как готовить детей к смерти? Говорить им правду — или



обманывать их? Любое решение мучительно, но до поры до времени им двигал инстинкт воспитателя, заставлявший его делать то, что он делал всегда. «Пасмурное утро. Половина шестого. Будто и нормально начался день. Говорю Ганне: «Доброе утро!» Она отвечает удивлённым взглядом. Прошу: «Ну улыбнись же!» Бывают бледные, чахлые, чахоточные улыбки».

Под давлением кошмарной действительности, под грузом страшной ответственности он оставался всё тем же Старым Доктором, в душе которого не было ненависти даже к солдатам, охранявшим гетто. Тот импульс, что лежит в основе всей его педагогики (желание понять, проникнуть в душу), не ослабевал даже тогда, когда он, поливая цветы, в окно видел часового, стоявшего с широко расставленными ногами. Он и в часовом пытался почувствовать что-то человеческое, незлое. «А может, в бытность свою штатским он был сельским учителем, может, нотариусом, подметальщиком улиц в Лейпциге, официантом в Кёльне? А что он сделал бы, кивни я ему головой? Помаши дружески рукой? Может быть, он не знает, что всё так, как есть? Он мог приехать лишь вчера, издавека...» — записывал он в дневник в тщетной надежде.

Доброта не оставляла его. Эта доброта ушла в могилу вместе с ним, и нам не восстановить её тут во всей её глубине и силе. Мы не можем до конца ощутить эту доброту, потому что она неотрывна от человека и выражается в его улыбке и глазах, в тепле его ладони, звуке его голоса. Мы можем только догадываться. Усталая мудрость таится в глазах Корчака на уцелевших фотографиях, мудрость человека, который понимает, что окружающие его дети пришли в мир на испытание и страдание. Есть фотография, которая во всех трудах о нём называется «Януш Корчак играет с детьми»: пожилой лысый холостяк в мятом халате стоит, положив руку мальчишке на спину, а вокруг него толпятся другие — ухмыляющиеся рожицы, бритые головы, босые тощие ноги с зака-

танными штанинами. Лицо Корчака, обрамлённое мягкой бородкой, сосредоточенно, в наклоне шеи и головы смирение, углы рта скорбно опущены вниз. Это снимок довоенных лет, но Корчак тут как будто предчувствует будущее. Он в очках в тонкой оправе, с овальными продолговатыми стёклами; в них же мы видим его на последней фотографии 1941 года, и в них же он пошёл в газовую камеру, ведя за собой двести детей. Или на пороге камеры он снял их тем усталым спокойным жестом, каким снимают очки перед сном?

Днём Корчак вёл ту обычную жизнь воспитателя и учителя, которую трудно описать, потому что она состоит из десятков незначущих на первый взгляд событий и случаев, которые приобретают смысл только тогда, когда складываются в одну общую большую картину. Он, как всегда, рассказывал своим детям истории и сказки, читал с ними книги, наполнял их время учёбой и трудом. Старшие должны были заботиться о младших. Все вместе — о порядке в Доме сирот. Сам он был одновременно повсюду — в столовой и в спальне, где присаживался на край кровати и что-то тихо говорил плачущему в подушку мальчику, в туалетной комнате, где проверял чистоту полотенец, и в классе, где исправлял ошибки. В такой работе не меньше слов значит взгляд, не меньше взгляда — касание руки и улыбка, показывающая, что в ошибке или неудачном поступке нет ничего страшного. Корчак был, как всегда, ровен и спокоен — он действовал так, как будто и его, и детей ждёт большое будущее. Много-много лет жизни.

Но под крепостью, которую выстроил Старый Доктор, разверзлся ад, который он скрывал от детей. Об этом он писал в дневнике, поверяя ему всю свою тоску и отчаяние. Кошмары вырывались из-под контроля в снах. «Какие невыносимые сны! — записывал Корчак. — Вчера ночью: немцы, а я без повязки в недозволенный час в Праге. Просыпаюсь. И опять сон. В поезде меня переводят в купе, метр



Януш Корчак



на метр, где уже есть несколько человек. Этой ночью опять мертвецы. Мёртвые тела маленьких детей. Один ребёнок в лохани. Другой, с содранной кожей, на нарах в мертвецкой, явно дышит. Новый сон: я на неустойчивой лестнице, высоко, а отец опять и опять суёт в рот кусок торта, большой, этакий с глазурью и с изюмом, а то, что во рту не помещается, раскрошенное, кладёт в карман.

В самом страшном месте просыпаюсь. Не является ли смерть таким пробуждением в момент, когда, казалось бы, уже нет выхода?»

Дневник Януша Корчака — книга, написанная человеком, знающим, что ему предстоит, и принявшим решение, изменить которое не способна никакая сила в мире. Решение это очень просто: быть с детьми. Он принял его очень давно, в далёком прошлом. Когда он понял, что жизнь выбрана, что судьба уже сложилась? Когда молодым врачом пришёл в лазарет для детей из бедных семей? Когда сорок лет назад пожалел маленького недотёпушку, игравшего на полу в ножницы? Когда основал Дом сирот? Не найти в его жизни этого мгновения; самые главные решения накапливаются в душе, незаметно и упорно, день за днём и год за годом, и потом вдруг приходит день, когда делается ясно: всё уже решено и поздно что-нибудь менять. Жизнь есть жизнь.

Януш Корчак, автор весёлых и мудрых книг, в которых он рассказывал миру о детях, книг, многократно издававшихся в Польше и стоявших на полках у сотен учителей, пишет свою последнюю книгу в гетто, где нет издательств. Он не надеется, что эти тетрадки в голубых обложках избегут той судьбы, что уготована ему и его детям. Он пишет не в назидание человечеству, а в желании в последние оставшиеся ему недели ещё раз утвердиться в своём решении и в своей вере.

Всё, что он писал до этого, было пронизано верой в то, что человек имеет право быть свободным. Возраст тут ни при чём. В ребёнке он всегда видел человека. Он умел почувствовать и признать

волю и разум в малыше, отказывающемся пить молоко с пенками, в грубоватом подростке, шеголяющем грубыми словами. «Сто детей... сто людей, которые не когда-то там, не ещё... не завтра, а уже... сейчас... люди». В довоенные времена, ежедневно заходя на цыпочках в спальню Дома сирот, он всегда чувствовал прерыв дыхания, горло пережимала нежность — столько незащитности было в лицах спящих детей, такое будущее дышало в такт их размеренному дыханию! Он видел своё предназначение, предназначение воспитателя в том, чтобы помочь им сбыться.

Он никогда не обманывался: жизнь — жестокая штука. Часто она насмехается над человеком, но даже и эта жестокость и насмешка не способны изменить то, что составляет ядро человеческого «я». Свобода невидимыми нитями связана с рабством и тайно перетекает в него: никто из нас не способен уйти от своей судьбы. «Она мечтала о монастыре, а очутилась в доме терпимости; но и там оставалась сестрой милосердия, которая в неприёмные часы ухаживает за больными товарками, утоляя их печали и страдания. Другую влекло к веселью, и она полна им в приюте для больных раком — даже умирающий улыбается, слушая её болтовню и следя угасающим взглядом за светлым личиком...» Он знал это не понаслышке, не из романов и повестей. В его памяти жили судьбы его детей — сотен детей, прошедших через Дом сирот.

Его свободу жизнь тоже вывернула наизнанку. Он учил детей жить, а теперь должен был научить их умирать.

В июле Корчак и его дети занялись театром — он решил ставить пьесу. Эта затея доставила им множество хлопот, которые отвлекли их от происходящего за стенами Дома сирот. Дети учили роли, придумывали костюмы, репетировали в большом зале, найденном Корчаком в пустующем гетто. Кто ещё был жив и способен передвигаться, преодолевая голод, получили приглашение, в котором было сказано, что их ждёт «нечто большее, чем актёры-дети».



Пьеса, которую выбрал Корчак для своих детей, была написана за тысячи километров от Варшавы, в Индии. В этой странной пьесе Рабиндраната Тагора всё было двусмысленно, каждое слово значило больше, чем казалось на первый взгляд, каждый предмет, помимо своего простого, понятного всем житейского предназначения, имел и предназначение тайное и глубокое, уводившее в мир буддистских представлений о непрерывности жизни, о сансаре — колесе превращений. Окно, в которое на протяжении всей пьесы глядел больной мальчик Амаль, было окном на улицу — и в другую жизнь, текшую где-то поблизости от этой. Сам Корчак смотрел на игру своих актёров из дальнего угла длинного, плохо освещённого зала. Что он думал, что чувствовал, видя бледные лица своих актёров, слыша их слабые голоса, ощущая исходившие от них возбуждение и подъём? Какая жальность и боль разрывали ему сердце? Смог ли он, репетируя, объяснить им то главное, во имя чего он выбрал пьесу Тагора — смерти нет, а есть только переход в другую жизнь? Мы не знаем.

Здесь, рассказывая о последних неделях и днях Корчака и его детей, мы вступаем в область полужизней, догадок, легенд, слухов. Живых свидетелей почти не осталось (их тем меньше, чем ближе к газовой камере). Одно из последних безусловных свидетельств оставил Игорь Неверли, бывший когда-то секретарём и сотрудником Корчака: «На Белянах сняли для него комнату, приготовили документы. Корчак мог выйти из гетто в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришёл к нему, имея пропуск на два лица — техника и слесаря водопроводной канализационной сети. Корчак взглянул на меня так, что я съёжился. Видно было, что он не ждал от меня такого предложения... Смысл ответа доктора был такой: не бросишь же своего ребёнка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как ос-

тавить их одних в заплombированном вагоне и в газовой камере?»

Тетрадки с дневником Януша Корчака были найдены после войны; они были замурованы в стену на чердаке Дома сирот. Последнюю запись Корчак сделал за два дня до того, как повёл своих детей к поезду, идущему в Трeблинку. Эта запись разбита на десять пронумерованных главок. Значит ли это, что Старый Доктор десять раз открывал тетрадь и записывал нахлынувшие мысли? Или это значит, что вечером, сев писать, он не смог собрать мысли воедино и записал их, разбив на отрывки? Мы не знаем этого.

Дневник Корчака кончается нотой горечи и надежды. Надежды на то, что чудо спасёт детей. Чуда не случилось. Планомерная и методичная работа немцев шла своим чередом. Они очищали гетто район за районом. Они документировали свою деятельность в десятках приказов, распоряжений, телефонограмм, отчётов, и потому историку не составляет труда воссоздать картину уничтожения. Но в этой картине всё-таки остаются пустые места, провалы — тут тоже есть кое-что, что нам не дано узнать. Это тайна последних часов, проведённых Корчаком и детьми в Доме сирот. Что он сказал им? Когда он, держа одного ребёнка на руках, другого — за руку, повёл колонну к вагонам, его воспитанники не плакали. Очевидцам они не казались даже особенно удручёнными. Колонна шла в образцовом порядке (по некоторым свидетельствам, даже с зелёным знаменем — знаменем надежды — впереди). Обманул ли Корчак детей, сказав, что их просто вывозят в другое место? Вряд ли. Корчак никогда не врал детям, да дети гетто и не попались бы на такой неловкий обман. Сумел ли он в последние часы дать им свой последний урок на невыносимую для учителя тему: что такое смерть и как умереть достойно? Как бы там ни было, Старый Доктор был и оставался для них великим авторитетом и они пошли за ним без слёз, так, как он велел. **НО**

